

ЛЮБОФФЬ...

Егору Кузьмичу вторую ночь подряд снилась молодая женщина. Одна и та же, что само по себе было неожиданно. И к тому же совершенно обнаженная. Голая.

Сон этот, разбитый на две ночи, но с одной героиней, смахивал, как показалось Егору Кузьмичу, на начало интригующего телевизионного сериала.

Хотя сюжет сам по себе был незатейлив. И даже — в какой-то момент Егор Кузьмич это явственно почувствовал — зависел от настроения спящего Егора Кузьмича, от его сиюминутного каприза. Например, вчера, в самом начале сна, когда героиня только появилась из клубов туманного подсознания, он сразу же понял, что хотел бы видеть ее не жгучей брюнеткой, каковой она явилась, а темно-русой. К тому же прямо тут же, при первой встрече, Егор Кузьмич скорректировал фигуру незнакомки, мысленно пожелав прибавить ей бедер и еще более утончить талию.

Голая женщина, теперь уже с темно-русой гривой волос, побежала от Егора Кузьмича по вечернему полю, оглядываясь на него и дразня своим прелестным смехом. Он видел, как высо-

ко вскидывает она над травой свои белые, по-женски округлые колени, как свободно играет на бегу ее прекрасное, именно то самое тело, о каком Егор Кузьмич всю жизнь мечтал, — что бы ему встретилось, ему принадлежало, — но никогда так и не имел. Он бежал, иногда догонял ее, касался то руки, то бедра, но схватить целиком не мог. Так они добежали до реки, вбежали оба в реку и Егор Кузьмич настиг Голую и упали они вместе, подняв стены брызг и смеясь от радости!

В этот самый момент Егор Кузьмич ощутил, как по-молодому окреп. И как дух его ликует былой отвагой и нежностью!

«Вот почему я стал полковником!» — как будто бы из другого сна пришла мысль и, как заблудившаяся льдина, ткнулась в лоб Егора Кузьмича. Чужая, потому что полковником он никогда не был.

Дальше началась фантазмагория. Голая опять побежала через поле, а Егор Кузьмич, оставаясь в своем молодецком возбуждении прежним пожилым мужчиной, в то же время вдруг обрел зрение и ловкость бабочки. Он порхал над плечом Голой и видел, как прямо внизу, под ним веселятся на бегу ее круглые груди, краем глаза отмечал и пылание ее щеки. А уже через секунду Егор Кузьмич вился у ее ног и видел все: как золотыми искрами вспыхивают ее икры, как попеременно и слаженно, словно паровозные маховики, двигаются ее полусферы. А то вдруг улетал вперед и, с восторгом замерев на секунду в пространстве, запоминал ее молодой и мощный бег прямо на него, осознавая, что она совсем не видит в нем бабочку, а видит его, Егора Кузьмича, и это ей интересно и приятно.

И все-таки «романтический период» стремился к завершению. Егор Кузьмич внезапно ощутил его почти физиологическую тяготность. Его воображение мгновенно нарисовало дом, к которому, как теперь стало ясно, и направлялась все это время Голая женщина. Она вбежала в его деревянные двери, он следом. Она петляла по едва мерцающим коридорам, забегала в одни двери, другие. Он настигал ее неотвратно, почти яростно. И вот она спиной упала на кровать, вся раскрывшись, а Егор Кузьмич, уже падая туда, к ней, в ее мягкую теплоту, — проснулся, весь зайдясь от досады...

Вторая ночь и вторая «серия» начались сразу же с того места, как они вбежали из поля в деревянный дом. Егор Кузьмич жаждал продолжения и, только лишь увидя Голую, все ту же темно-русую, манящую, поддразнивающую его своими размятыми губами, тотчас вновь ощутил, как будто в его тело вернулась юная память.

Он бежал, расшвыривая двери, на ее ускользящую белизну и, когда она вдруг упала на спину, раскинувшись, как разласканная кошка, Егор Кузьмич упал следом, ища на лице ее распаренные внутренним жаром губы...

Сон его, как и вчера, разрушила Галина Семёновна, жена. И вновь, будто ревнуя, угадала самый его острый момент.

Егор Кузьмич, все еще пребывая в остаточных туманах сна, следил, как жена Галина закрепляет заколкой волосы, стоя у зеркала.

«Сюрприз!» — сообщил Егор Кузьмич и откинул одеяло. Жена бросила слегка прищуренный взгляд туда, куда взглядом же указывал Егор Кузьмич. Секунду поразмыслив, подняла большой палец.

Он засмеялся. Смех перешел в кашель. «Бросай курить», — сказала Галина Семёновна с давней озабоченностью и вышла.

Егор Кузьмич с усмешкой вспомнил, как вчера вот так же, внезапно разбуженный на самом интересном месте, с вызовом откинул одеяло. Галина аж присела, прикрыв ладошкой рот. А над ладошкой смеялись смущенные, помолодевшие глаза!

«А сегодня только палец подняла!» — отметил Егор Кузьмич.

— Вот брошу тебя, к молодой уйду! — прокричал за дверь.

— Это не к той ли, за которой по ночам бегаешь?!

— Ну откуда ж ты все только знаешь? — изумился не без удовольствия Егор Кузьмич.

— Никуда ты не уйдешь! — с веселой твердостью заявила Галина Семёновна из-за двери.

— Это почему?

Дверь приоткрылась на щелочку и голос Галины Семёновны в эту щелочку ласково прошептал: «Любофффь...»

«Любофффь...» — передразнил Егор Кузьмич благосклонно и забросил руки за голову. Посмотрел в потолок долго, задумчиво, как за горизонт. И мысленно сказал этому много повидавшему потолку, как себе: «То-то и оно, брат».

РУКА КАРЛА МАРКСА

В доме родителей на Песчаной прямо над нами жил бывший директор Института марксизма-ленинизма Г. Д. Обичкин. У руля он простоял девять лет — принял опасный штурвал за год до кончины Сталина, в 1952-м, а расцепил ухват на бурном подъеме хрущевской оттепели — в 1961 году. Сия боевая идеологическая цитадель советского марксизма-ленинизма долгие годы находилась в самом центре столицы, за конной статуей основателя Москвы Юрия Долгорукова, и получалось, что великий князь с тыла был прикрыт «марксизмом», а прямо перед ним и его конем красовалось похожее на кумач здание Моссовета. В этом противоречивом идеологическом триптихе только ресторан «Арагви» по левую руку от основателя, смягчал историческое напряжение.

Надо отметить, что здание Института было сооружено в стиле модного в 20 годах конструктивизма, а спроектировал его архитектор Сергей Егорович Чернышев (ученик академика Императорской Академии художеств Л. Н. Бенуа). Между прочим, тот самый Чернышев, который в 1949 году будет удостоен Сталинской премии 1-й степени за проект главного корпуса МГУ на Ленинских горах. Так горячо любимого мною и, не сомневаюсь, — большинством «агрессивно-послушных» граждан СССР и просто России.

Какая прихотливая, все же, переключка! Академик Бенуа — Институт марксизма-ленинизма — Юрий Долгорукий — Сталинская премия — Арагви — МГУ — Обичкин...

Иногда я сталкивался с Обичкиным в подъезде. Он, пенсионер со стажем, непременно был в тройке даже в жару, всегда при галстук в горошек, точь-в-точь, как на знаменитом портрете В. И. Ленина, висевшем во всех кабинетах Советского Союза. Обичкин и ростом был, как Ленин, около метра пятидесяти, с ленинской же бородкой и усами. Только значительно старше Ленина, совсем седенький. Геннадия Дмитриевичу в те 70 годы было под восемьдесят, но производил он живое впечатление — уютно опрятный, доброжелательный господин в маленьких черных ботиночках.

А внуки Обичкина истязали моего отца. Внуков было двое, оба страдали каким-то врожденным дефектом ног, потому носили жесткую обувь, на крепкой, как у чечеточников, подошве. И беспрерывно бегали по всем комнатам, рассыпая над нашими головами звонкую рок-н-рольную дробь. А отец, когда работал за письменным столом, совершенно не выносил постороннего — даже малейшего — шума! «Беда» была еще в том, что работал отец дома целыми днями, с перерывами разве что на лекции и еду. И — шахматы.

— Они бегают по моей голове! — воздев руки к потолку, бушевал папа, вырываясь, как лев, из кабинета. — Эти маленькие садисты не дают мне работать! Аня, — кричал он, — купи этим палачам тапочки! — Мама смеялась, чем заводила отца еще пуще. Но в очередной раз напоминала, почему внуки Обичкина не снимают дома ботинок. Отец с усилием остывал и говорил: «Надо подарить Обичкину ковер!» Мама опять смеялась, а отец закрывался в кабинете и затыкал бесполезными «берушами» уши. Хитрых затычек — всех видов — нанесли ему из аптеки мешок.

Между прочим, «мешающий шум» был настолько серьезной проблемой, что отцу однажды удалось изменить маршруты захода самолетов на посадку во Внуково. Летом самолеты садились и взлетали с интервалом в несколько минут — почти над крышей дачи, сотрясая чудовищным ревом округу. Приходилось даже кричать собеседнику в ухо, иначе он не слышал ни бельмеса. И отец убедил соответствующие власти отклонить траекторию от писательского поселка. Ненадолго. Пока была еще жива советская власть, считавшаяся с «капризами» фронтовиков, инвалидов войны и творческих работников.

Однажды Обичкины затопили нас еще и водой. Отрядили оценить масштабы бедствия меня. Так впервые я оказался в квартире бывшего директора Института марксизма-ленинизма, историка коммунистической партии Обичкина Г. Д. Хозяин встретил в отглаженной шелковой пижаме, чем-то отдаленно напоминающей его знаменитую костюмную тройку. Может быть, по-ленински сунутыми в подмышки руками. Когда мы вместе обнаружили, что вода действительно переливается через ванну и вот-вот преодолеет барьер под дверью, он по-стариковски запаниковал. Пани-

ка его выражалась в учащенной топтании на месте, будто он хотел убежать от свалившихся неприятностей, но бежать было некуда. Я вызвал маму и мы в пять минут устранили «потоп».

Повеселевший Обичкин меня не отпустил, провел в кабинет, стал расспрашивать «о жизни молодежи» в моем лице. На тумбочке у его кровати, как перед решающим сражением, столпилась батарея маленьких пузырьков и склянок, источавших сильный, какой-то совокупный аптечный дух. Тогда подумалось об увиденном количестве — «чересчур»! Теперь бы уже — нет.

Но главное впечатление пришло не сразу — я пробежался взглядом по огромной библиотеке Обичкина и испытал неосознанный дискомфорт. Что-то с ней было не так! Что же именно? Приглядевшись, я понял, в чем дело — все корешки библиотеки были однотонными, а окраса — строго темно-коричневого, темно-зеленого, бордового и красного. А еще темно-синего. Таким колором в СССР издавали Ленина, Маркса-Энгельса, Сталина, Плеханова и вообще всю политическую литературу. Несколько тысяч книг, и поголовно — политические! С редкими «диссидентскими» вкраплениями художественной литературы в лице Максима Горького и Шолохова...

Меня это так обескуражило, что я с искренним сочувствием посмотрел на старого марксиста Обичкина. Он мой потеплевший взгляд истолковал по-своему и с внезапным возбуждением стал рассказывать, как ездил в Париж — выкупать для «своего» института неизвестные до сих пор письма Маркса. Оказалось, дорогими политическими раритетами умело торговали внуки автора «Капитала», и Обичкин вел с ними длительную предварительную переписку, цель которой была в том, чтобы сбить цену. Геннадий Дмитриевич с детскими слезами радости поведал, что ему удалось сэкономить государственные деньги советского народа, поскольку стоимость раритетов он «удачненько понизил»!

Прощаясь в дверях, явно тронутый вежливым вниманием, Обичкин открыл и совсем уж «интимную» тайну: «А вы знаете, этой вот самой рукой я пожимал руку внука Карла Маркса!» Он вытянул старенькую детскую ладошку, чтобы я мог ее повнимательнее рассмотреть в качестве наглядного доказательства, а поскольку рука продолжала висеть в воздухе, я догадался,

что Обичкин не против, если я пожму ее и тем самым приобщусь к Великому событию, случившемуся в Париже с ним самим!

Я осторожно пожал выставленную ладонь, и Обичкин придержал мою руку, словно передавая невидимую эстафету от руки внука самого Карла Маркса!

Выйдя за дверь, я спустился к подъездному окну и посмотрел на свою ладонь с невольным любопытством...

У моего отца в библиотеке было море художественной литературы, и многие из мировых классиков стояли со своими полными собраниями сочинений, плотно прижавшись друг к другу могучими бумажными плечами. Но был у папы и еще один — особенный книжный шкафчик! Лет в пятнадцать мне посчастливилось обнаружить в нем существование второго, «тылового» ряда, где папа конспиративно хранил библиотечку «служебных» изданий. Как работник ЦК КПСС, папа получал их в начале 60-х в порядке рабочего ознакомления. Это были белые книжечки в мягкой обложке, с тонкой бордовой окантовочкой. Они и познакомили меня нелегально с романом «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, а затем с «Реализмом без берегов» ревизиониста, как тогда считали, Роже Гароди, сборником статей «путаника» Сартра, пьесами Камю, «Процессом» Кафки, его рассказами, включая «Преобразование», да и вообще со всем, что папа прятал на этой полке от посторонних глаз! Неизданная в СССР литература, доступная лишь диссидентам и партаппаратчикам, братьям, так сказать — по конфликтующему разуму, неожиданно стала и моим достоянием. И, конечно, как-то повлияла на мое преждевременное мозговое развитие. Хотя это не факт, скорее робкое предположение...

Подумать только — огромная библиотека, тысячи книг, а — почитать нормальному человеку нечего!

Я понял, что Геннадий Дмитриевич умер, увидев однажды за лифтом аккуратно составленные в штабеля книги — рыжую стопку полного собрания сочинений Иосифа Сталина (на глаз — почти двадцать томов). Шоколадно-коричневые, одинаковые по толщине совместные тома Маркса и Энгельса, темно-синие стопки Ленина (на глаз — более сорока томов), темно-зеленое собрание сочинений Плеханова, самое скромное в количественном выражении...

Было ясно, что все эти монолитно-унылые стопки были подготовлены к эвакуации в ближайший мусорный бак внуками ученого. К этой исторически осознанной процедуре они успели возмужать, стали крепкими молодыми людьми с сильными ногами. Благодаря жестким ботиночкам, так мучившим моего отца, они все же избавились от детского недомогания.

А через полгода, вынося в пакете мусор, я обнаружил и второй библиотечный транш — разрозненные тома политической литературы: красные, зеленые, желтые, серые... Это была почти, можно сказать, публичная, окончательная смерть библиотеки Обичкина. Вспомнилось, как он передавал мне ладошкой эстафету от Маркса. Подумалось, что, наверное, передавал ее и своим внукам — как что-то важное, дорогое. И странное дело, но именно в тот момент я и пожалел его по-настоящему, до сердечного спазма...

ЗВОНОК ИЗ ЛУВРА

Ночью разбудил внезапный звонок: «Художник Глухов Владимир Иванович? Э? Вас беспокоит парижский музей Лувр. Хотелось бы приобрести все работы Вашего нового цикла по миллиону евро за единицу, а также предоставить Вам в бессрочное пользование мастерскую на Монмартре и личное авто с водителем! Э? Вы согласны на наши условия? Э?»

В моей голове разорвалась бутылка шампанского! От того, что Лувр ошибся абонентским номером, от того, что я вдруг стал понимать по-французски, и от дикого огорчения, что я не Глухов!

— Вы набрали неправильный номер, — прошептал я на идеальном парижском диалекте, словно футбольный мяч, по которому нанес чудовищной силы удар великий Лионель Месси, и вот из мяча выходит его душа — воздух...

На том конце провода раздались непочтительно торопливые гудки: «ту-ту-ту-ту...»

Тут же позвонил мой приятель, художник Глухов.

— Тебе звонили из Лувра? — по-прокурорски спросил он.

— Да, — признался я как «человек честный».

— Что ты сказал им?

— Ошибка номера, э...

— Дурак! Дурак! Дурак! — как попугай, но фальцетом закричал Глухов и бросил трубку.

Тут сдали нервы и у меня. Я размахнулся и очень ловко запустил телефоном в узкую щель балконной двери! Телефон угодил прямо в дупло старого тополя и оттуда послышалась моя любимая битловская композиция. Я использовал ее в качестве вызывающего звонка. Вокруг возликовали птички, они слетелись к интересному дуплу и дружно заплодировали Битлам крылышками, а под деревом остановился утренний мальчик и поднял голову к дуплу в умилении. Короче — Дисней!..

Ровно в семь часов утра и тридцать четыре минуты по московскому времени раздался звонок. Телефон оказался на тумбочке, я посмотрел, какой добрый человек будит меня в такую рань, и понял, что это реально Глухов — прямо из Тюмени.

— Jamais! — вскричал я мысленно на идеальном французском, насильственно выходя из сетевой коммуникации и попутно меняя бок. А продолжил, засыпая, на родном, почти вточь, как Вертинский: «...Он говорит «жамэ». Он все твердит — «жамэ, жамэ, жамэ, жамэ». И плачет по-французски...»

БАЛЬЗАК ОТДЫХАЕТ

Младший за лето прочитал «Капитанскую дочку», пушкинские «пугачевские хроники», а также «Пушкин и Пугачёв» М. Цветаевой, «Пугачёва» С. Есенина, Сэлинджера «Над пропастью во ржи», Стендаля, Диккенса, Бальзака, засел за «Обыкновенную историю» Гончарова... Что-то еще прочел, не упомяну. Гончарова — громадный «сталинский» том избранного, 1948 года, странного мышинового цвета, весом с полпуда — притаранил ему на «дальнюю дачу» я. Все знают эти великановы тома, еще с 37 года, когда А. С. Пушкина к его юбилею выложили народу первым на могучую читательскую ладонь.

— Как Бальзак? — спрашиваю про Бальзака, поскольку мой скорочтец именно его одолевал дольше других.

— Скукота! Описаний слишком много! Как начнет описывать какую-нибудь хрень, и вот нудит страниц тридцать об одном... Ты лучше пиши!

Наступает пауза. Я успеваю полуобморочно закатить глаза, схватиться за сердце, крикнуть его матери: «Валидол в доме есть?!»

— Что случилось?! — тревожатся из дома. А потом на крыльце и жена, и старший, Георгий.

— Говорит, я лучше пишу, чем Бальзак!

На крыльце с облегчением и закипающим весельем переглядываются.

— Ну, ты живее пишешь, интереснее... — гнет Лёня свою кофточку.

И вдруг я понимаю, что он наконец-то соскучился по мне за лето, поскольку не виделись мы давно.

Похоже, об этой мотивировке догадались и те, что на крыльце. И наступило некоторое всеобщее ошеломление, потому что Лёня уже года полтора, с тех самых пор, как начал у него грубеть голос и пробиваться ус под носом, вошел в «жесткую», как боевое пике истребителя, оппозицию. Вот просто оппозицию, которую ни объехать, ни перепрыгнуть никак — хоть тресни ты, несчастный любящий отец! Ощетинился молодой, и все. Как средневековая какая-нибудь крепость. Все ни так, ни эдак, никак! Вымахать успел за то время, пока я страдал, почти на голову мать перерос, в восьмой класс первого сентября пойдет. И вот нате вам! Перемены!

— Льстить научился! — одобительно киваю я на младшего. — Признак ума, между прочим! Главное, не переборщить! С Бальзаком ты, сынок, слегка переборщил. Но это не грех — я же отец твой. Кому еще и льстить-то беззастенчиво, как не отцу родному? А, товарищи? — обвел я собравшуюся аудиторию посчастливившим взором.

На крыльце зашептались-захихикали и скрылись в дверях, не прощаясь.

— Ну чё, а Сэлинджер-то прокатил? Я его лет в пятнадцать пообожать успел.

— Сэлинджер прокатил! — охотно согласился Леонид. Я незаметненько приобнял его за плечо, о чем давно мечтать забыл, и мы пошли к дому.

— Лён, а тебе правда нравится, как я пишу?

— Да нравится, пап. Нет, ну Бальзак тоже, конечно, ничего...

Мы вошли вместе, предварительно я спрятал глаза от своих до-
машних ехидн...

МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА

Брата Михаила не взяли в подводный флот, хотя весь районный призыв брали именно туда. Военком посмотрел на Мишу раз, посмотрел еще и сказал со смешанным чувством восхищения и досады: «Куда ж ты вымахал, бэ? Ты ж ни в одну лодку не влезешь!»

И отправил Мишу, в порядке исключения, не туда, где «сидели под водой» два года, а туда, где служили целых три года, но над водой! А нечего выпендриваться со своим нестандартом под два метра! Миша к восемнадцати даже папу перерос. А папа был, как любили говорить его друзья маленького роста, ну такие, хотя бы, как знаменитый кинорежиссер Марк Семёнович Донской, — сибирским богатырем! Так папу любили величать. И вдруг появляется Миша, еще больше, чем папа. Это уже совсем какой-то нонсенс, вызов неподготовленному мировому сообществу!

Я-то давно подметил, что Миша гораздо крупнее своих сверстников. Гораздо! На одной примечательной фотографии из пионерского лагеря, где брат Миша стоит рядом со своим сверстником, мальчиком лет десяти-одиннадцати, — Миша похож на папу этого мальчика. Одна Мишина нога, например, выглядит как-то убедительнее, чем весь чужой мальчик. Картина! Мы все до сих пор смеемся, натываясь на эту старую фотографию! А Миша, кстати, обижается, как и в детстве. На наш глупый смех.

Помнится, привезли нам в новую московскую квартиру мебель. Бригадир грузчиков, огромный мужик, все посматривал внимательно на Михаила, как тот пыхтит, помогая; а потом деловито, ну просто, как цыган лошадь, пощупал Мишины руки, ноги, помял плечи, и с великой убежденностью изрек: «Тебе, парень, надо борьбой заняться. Чемпионом мира будешь!» Сам он оказался

бывшим борцом, два раза становился призером Москвы в тяжелом весе по «вольной», но — когда щелкнул пальцем по горлу, мы сразу поняли, почему он теперь грузчик.

Миша лет в четырнадцать и, правда, записался в секцию самбо. К этому времени я уже несколько лет «бил по почкам» старому мешку с песком. Мешок фригидно, но мастеровито уклонялся влево-вправо, избегая бесконечно опостылевших ему молодых боксеров, с их озабоченно-страстными наскоками.

Регулярное это «избиение» происходило по какой-то прихотливой фантазии судьбы — в спортивном зале ЦСКА на Комсомольском проспекте, в двух шагах от Союза писателей России, до которого дела мне тогда никакого не было и в помине. А между тем, как я узнал позже, бокс нравился самому Александру Сергеевичу Пушкину, который не ленился самостоятельно изучать «английскую забаву» по французским книжкам!

И вот однажды как-то поехали мы с братом Михаилом в Серебряный Бор кататься на лодке, загорать и плескаться в пресных водах. Мне уже стукнуло двадцать, а Мише пятнадцать. Я был — придется гордо повториться — достаточно сильным вьюношей, с детских лет лыжи, легкая атлетика, слалом, велосипед. Регулярно и в охотку поднимал утюги, потом гантели, а позже, в ранней юности, зашалил и с разборной штангой на двадцать кг, ну и, наконец, любимый бокс... И потому, валяясь на речном песке, стал я подначивать одного со мной роста Мишу на «померяться силой». Пока Миша отнекивался, я деловито взял его в захват и начал заваливать на левую лопатку.

Миша спокойно стерпел этот маневр и даже позволил сесть на себя верхом, что меня несколько обеспокоило. Как, наверное, Наполеона — горящая Москва, когда он рассматривал ее с Воробьевых гор в 1812 году. Я на всякий случай спросил: «Ну что, сдаешься?» На что Миша миролюбиво сказал: «А мы что, боремся?» Я ухватил его за шею и принялся неторопливо «душить», чтобы понял он, наконец, кто в доме хозяин. Мише это не понравилось, но стерпел он и сей маневр. Слегка подушив его, я опять уселся на его широкой груди, со словами: «Что, чувачок, сдался?» — и пару раз для убедительности подпрыгнул, как верхом на лошади.

И почему-то вот именно это Мише не понравилось. Сначала он подозрительно глубоко задышал, помидорно побагровел лицом, а потом я явственно ощутил, что подо мной пробуждается Везувий. Или даже точнее — паровоз! Вот сдвинулись его могучие штифты, приводя в движение колеса, вот ожили шатуны и рычаги, пыхнул паром огромный, быстро раскаляющийся котел и... я почувствовал, как вдруг едва заметное Мишино движение заблокировало свободу моей правой опорной ноги, а затем уже и одна из моих рук, не желая того, куда-то опасно потянулась Мишей, и я сообразил, что вот, через секунд пять, потеряю равновесие, и он не просто свалит меня с себя, а уже сам сядет сверху.

Я напрягся изо всех своих спортивно-физкультурных сил, «прощально» сдавил его, как смог, и вырвался из чугунных объятий со словами: «Ладно, живи!» Миша какое-то время подышал бурно вздымающейся грудью, перекрывая ею горизонт, и успокоился. И, если честно, меня уже даже не задело, что он так легко пропустил мимо ушей мою «великодушную» финальную фразу...

Но особо крепко запомнилось, как отдавали мы Михаила в армию, уже на сборном пункте. Сам момент его отлипания от нас, семьи. Подошли автобусы с приглашающе раскрытыми дверьми, мальчишки полезли внутрь. Миша еще стоял с нами, самый из всех большой, теплый, домашний наш ребенок, но только с государственно обритой головой. И вот он в дверях, двери со скрежетом сдвигаются, я вижу через окно растерянное, по-телячьи тычущееся в стекло детское лицо, прощальный взмах руки!

А через полгода отец читал в большой комнате очередное письмо от Миши из Североморска. Специально всех собрал, чтобы и мы разделили с ним нечаянные слезы его веселья. Он размазывал их по щекам, выходя с конвертом из кабинета.

В этом письме Миша сообщал, что занял второе место на чемпионате Военно-Морского Флота СССР — по боксу! В супертяжелом весе.

— Почему по боксу-то?! — пораженный вскричал я. Папа, успевший насладиться письмом, пояснил — потому что Мишин командир был уверен, что если салага занимался самбо, значит, и бокс постигнет! В процессе самой драки, так сказать. К тому же выставить боксера в таком весе от Северного флота — на знаме-

нитом флагмане «Мурманск» — было некого. Кроме нашего «молочного домашнего телка», правда, уже прошедшего учебку в ледяном Северодвинске, получившего первую лычку на погон, а также бесценный опыт приобщения к коллективному разуму могучего военного организма!

Об этой, самой грандиозной спортивной победе в жизни Мишаила (сегодня это медицинский факт), увы, поведать особо нечего. Миша добросовестно поднимался на ринг, терпеливо ожидал противника, противник не выходил, ему автоматом засчитывали победу. Все! Так воздушно и чудесно шло дело до финала.

Как писал Миша, он уже начал надеяться, что никто не выйдет и на его последний, «триумфальный бой». Но вышел боксер-первоурядник, такой же большой, сурово нахмуренный бугай. И брата Мишу обморозило — роковой час пробил, сейчас гарантированно и бесславно рухнет он на ринг, хорошо, если не в глубоком нокауте!

Спасла смекалка: Миша быстро вошел в клинч и успел шепнуть суровому на ухо, что это его первый бой в жизни, «давай, мол, повозимся чуток, ты победишь, а я не опозорюсь»... Мужик понял, и Миша даже ни разу не упал. Вот на какие чудеса способен человеческий разум в минуту грубой опасности!

В итоге отслужил Миша все три года доблестно. Иначе и не скажешь. Вернулся старшиной первой статьи, что для срочника — потолок возможной карьеры. К тому же совершил два дальних похода по семи морям и двум океанам, швартовался на африканском континенте, а также у берегов Дубровника и Сирии, год простоял в ремонтных доках Севастополя и тем самым побратался с Черноморским флотом.

Рассказал как-то и про севастопольские ночные шуточки над ушедшими в увольнение: шарили корабельным прожектором по сопкам вокруг бухты и, когда поднимали товарищей с местных девчонок, дружно вопили от подлого счастья!

А кораблик-то между тем достался брату Мише легендарный — не только потому, что славной, но еще и трудной, даже трагической судьбы, о которой из уважения к нему стоит поведать. Уж больно судьба его смахивает на судьбу человечью.

Заложили крейсер еще при Сталине, а сошел на воду он — в 1955 году — при «царе» Никите. Хрущёв не любил корабль

сразу. За то, что не реактивный и не атомный. Почему он не попал в число порезанных Хрущёвым более 240 кораблей ВМФ СССР, тем паче, что генсек о своем намерении в отношении «Мурманска» высказывался, — история умалчивает. Может, отвлекся на кукурузу за Полярным кругом или на «п...сов» абстракционистов. Черт его знает! Но корабль уцелел, хотя и сократили его штатную команду с 1270 человек до 495, и поставили на годы в консервацию... Короче, на смену шустрому, как веник, Хрущёву явился спокойный и вальяжный Брежнев. При нем крейсер очухался, ожил, быстро набрал популярность и даже стал флагманом Северного флота, наилучшим образом проявив себя при стрельбах по радиолокационному наведению, что тогда было внове, а на крейсере как раз и стояло новейшее радиолокационное оборудование. К тому же этот двухсотсестиметровый корабль с двигателем в 110 тысяч лошадиных силшек развивал скорость более 60 км в час, а это не плохо даже сейчас.

Брат Миша как раз и был на этом крейсере в начале 70 годов радиометристом, командиром наводчиков главного калибра — в три 152-миллиметровых ствола на башню. И если уж быть до конца честным, то своей безукоризненно точной стрельбой по условным мишеням — существенный вклад в боевую репутацию крейсера, занимавшего в эти годы неизменно первые места по всему ВМФ в стрельбах, Миша своей тяжелой рукой внес.

Так-то вот обстоят дела в глубокой исторической ретроспективе советской мирной боевой славы, дорогие товарищи! И это не шуточка — быть лучшим наводчиком на лучшем корабле ВМФ СССР, а именно такое звание заслужил крейсер «Мурманск» к концу 80-х.

Но... пришел к власти новый «царь», Горбачёв, и вскоре «лучший крейсер ВМФ СССР» сначала переформатировали в корабль управления, а через год — списали в утиль.

Под руководством Горбачёва страна в одностороннем порядке пошла на разоружение. До сих пор Запад не очухался от геополитического шока. Да оно и понятно — не было в мировой истории аналогов подобному: то ли предательству, то ли идиотизму!

Но и это не все. Уже в 1992 году, при Ельцине, вспомнили, что где-то в заливе Кольского полуострова все еще ржавеет «сла-

ва Северного флота», никому теперь не нужный крейсер «Мурманск». И окончательно «исключили» его из состава, «расформировав».

А в 1994 году — «лучший крейсер» продали Индии как металлолом. Его посадили на стальной ошейник, как обреченную собаку, поволокли буксирами к чужим океанам и берегам.

И вот тут оказалось, что душа крейсера еще жива! Проходя по водам Ледовитого океана, предчувствуя встречу с Атлантикой, он, столько раз бороздивший эти два родных ему океана, — рвет «ошейник» и выбрасывается на скалы острова Серейя, упав на песчаное дно норвежского фьорда, место своего последнего пристанища. Словно окончательно соединив в своей судьбе два океана, но и сам себе выбрав «могилу».

Еще целых девять лет он пролежал на правом боку, днем рассматривая туристов и зевак, специально едущих к нему — поглазеть на русского богатыря. А ночами сам смотрел в северное небо, мысленно прокладывая пути среди звезд. Пока не растащили его стальное тело до последней заклепки.

Такая вот судьба приключилась у корабля, на котором три года отслужил моряк Миша, мой брат. Большой и сильный, но не сказать, что очень везучий. Случилось и с ним то, что, по моим наблюдениям, оставило неизгладимый след.

Однажды пришлось Мише забраться на достаточно высокую радиолокационную башню крейсера с технической инспекцией, и в это самое время какой-то идиот внизу врубил станцию на полную — и попал Миша под колоссальный волновой удар! Последствия этой контузии я почувствовал после его возвращения домой, еще ничего не зная.

Не мог я понять, смириться не мог с тем, что вот ушел он из дома три года назад добрейший, ласковый, простодушный человек, а вернулся задумчивый, беспричинно темнеющий парень, способный час просидеть с опущенной головой, словно в великой и дремотной озадаченности.

Что он мог получить от крейсера в тот роковой момент, когда враз и дыбом встал каждый волос на его теле и затрещал вокруг возмущенный воздух?!

Не знаю, не знаю...

Но посуловел наш добряк, это бесспорно. И еще обнаружилась новая новость: когда в застолье начинались разговоры на «высокие» темы, Миша водил, водил взглядом по «умникам», подозрительно мрачнел, поднимал рюмку, и, останавливая повелительным жестом очередного оратора, с очевидным мужским сарказмом говорил: «А не поднять ли нам бокалы за дам, которые своим пышным букетом украш-шают этот стол?» Вставал во весь свой «военно-морской» рост и внимательнейшим образом наблюдал за тем, как поднимаются над столом «умники»... Если за столом оказывался при этом папа, папа ухмылялся, с интересом наблюдая за Мишей своим синим из-под брови глазом, и хмыкал, загадочно оценивая ситуацию.

Слава богу, контузия не помешала брату Мише окончить экономический факультет МГУ, поработать в Институте международной экономики, в экономической редакции АПН, пока... перестройка не выбросила Мишу, как многих из нас, на паперть «свободного рынка», но это уже другая, отдельная и, разумеется, драматическая история, которую не оторвешь от мировой, во всей красе ее масштаба.

Вернемся к доблести. Вот что получается в сумме усилий одной лишь нашей семьи — отца, братьев и мамы. Отец окончил школу в июне 1941-го, в Великую Отечественную ранен четырежды, два раза — тяжело. Прошел Сталинград, Курскую дугу, командовал батальоном саперов, капитан. Тут, как говорится, вопросов нет. Боевые ордена не врут. К папиным ранам прибавилась Мишина контузия, а про достижения его я не все, но сказал.

Младший Иван — добровольно ушел со второго курса журфака МГУ в десантные войска, служил в лучшей разведроте СССР, под началом легендарного десантника-разведчика, боевого офицера Леонида Васильевича Хабарова. Как и Михаил, собрал все высшие знаки отличия для солдата-срочника. И позже добровольцем отслужил военным переводчиком в Анголе два года, ранен в бою, контужен, переболел африканской лихорадкой и там же подцепил гепатит, который позднее убьет его в мирное время, в возрасте 59 лет, переродившись в неизлечимый цирроз.

Остается сказать о матушке. В пять лет окажется в ссылке на Бодайбинских приисках, вместе с матерью, старшим братом

и четырьмя сестрами. Как дочь врага народа. Однако выживет, станет учительницей русского и литературы, встретит отца, родит ему трех сыновей. Безропотно сдюжит с отцом все годы его политической опалы при Брежнев, поднимет нас, потом потеряет отца, младшего сына. И, перевалив за девяностолетний рубеж, будет без ошибок читать наизусть Лермонтова и Пушкина на наших с ней неторопливых дачных прогулках. Доблесть?

И все же, когда сегодня смотрю я на своего седого брата Михаила, вспоминаю не о доблести его воинской. Я вспоминаю, как зимними вечерами забирал его из детского садика и вез через тамбовские сугробы на санках, время от времени оглядываясь на краснощекого пузана, беспокоясь — как он там, не замерз? А он всякий раз отзывался в ответ приветливой улыбкой. Вспоминаю, как в трескучий мороз спровоцировал его лизнуть чугунную ограду нашего палисадника, и он, простодушный, лизнул. И как забудешь горячее свое раскаяние в тот момент, когда Мишу всем двором пытались отлепить от чугуна, но все же кусочек его языка так и остался на ограде, когда Мишу «оторвали»? Не забыть такого. Не забыть.

Ведь простодушие и доверчивость сохранил он и в 90 годы, вынужденно занимаясь бизнесом. А когда заработал деньги, практически все раздал в долг бывшим друзьям. Как он мог подумать, что они ничего не вернут назад? Ну вот как? Ведь сам он всегда возвращал и даже представить не мог, как возможно нарушить слово, данное другу! Этому же учила с детства мама!

Боюсь, он один из нас троих твердо следовал маминым урокам. Да и сейчас такой же, хоть бит-перебит предательствами и вероломством.

Бог ты мой, что мы вспоминаем, прожив жизнь! Наш младший брат Ванечка, отчаянно махнувший через десантуру и войну, на полном серьезе, с детской обидой припоминал еще совсем недавно нам с Михаилом, как мы мучили его, хватая за кончик носа, и обвинял, что нос у него с малолетства приобрел чуждую каплевидную форму!

А Миша до сих пор вспоминает, как в детстве, впервые оказавшись в Сочи, не доел шашлык — очень-очень вкусный, сочный, первый в жизни шашлык. Каждый раз, когда Миша начинает опи-

сывать этот свой недоеденный шашлык, его сочные, с хрустящей корочкой сиротливо оставшиеся три кусочка, дразняще пахнущие костерком, сахарно-белые олимпийские колечки репчатого лука, ломтики пурпурного помидора, с зеленоватыми в мякоти зернышками, и ... невероятно вкусный томатный соус на ободке тарелки, — у всех начинают течь слюнки, и народ оглядывается на маму, с горячим сочувствием к Мишиной трагедии. Из-за отъезжающего автобуса мама подарила Мише трепетное воспоминание о первом шашлыке — на всю жизнь!

Неужели вся доблесть моей собственной жизни только в том, что я помню об этих мгновениях и процарапываю их на бумаге? Про то, как в сорок лет взял зачем-то «Маленького принца» Экзюпери, чтобы перечитать его в Гульрипши, на пустынном сером берегу, а дочитав, разрыдался и упал лицом в море? Про то, как вез на санках добрейшего маленького толстяка? И он успевал улыбнуться, будто знал, что я сейчас оглянусь на него? Неужели это все? Вся доблесть? Все мое оправдание?

Эх, Мишка-братишка! Где же твоя улыбка? Где ямочки на щеках, бедный мой дорогой брат?..

ЧУЖОЙ СОН

Приснился сон. Чужой. Иногда сны блуждают по ночам в ноосферных слоях — наподобие облаков — и ошибаются головами. Но я записал его, этого чужака...

...В капитанскую рубку как будто стучались молотком. Звук был жестким и звонким — это пули крупнокалиберного пулемета ударялись и рикошетили в стороны, зло натываясь на уже ненужные препятствия.

Я порадовался, что всего за пять дней до этой погони успел превратить рубку в бронированную капсулу.

Там, где брони не было, пули прошивали металлическую обшивку бортов и вязли в древесине. Похоже на то, как пуля из охотничьего карабина входит в тело баобаба, — чмокая его.

В рубке было семь мужчин и женщина. Все сидели на металлическом полу. Женщина — жена посла, молодая, русоволосая, смо-

трела, не отрываясь, в одну точку твердым взглядом. Руки ее обхватывали голые высокие колени, как двух беззащитных детей.

Я был почти уверен, что катер, который уже минут пятнадцать шел в опасной близости от нас по правому борту, не выдержит гонки. «Полный», — тихо скомандовал я помощнику.

Наступал момент истины. Сила моторов решала наши судьбы.

Обе лодки летели над желтым морем, будто не касаясь воды. Розоватый туман стелился с изысканной деликатностью, пряча взбитую винтами волну.

Сзади прозвучала очередь, за ней другая. Лишь две-три пули чиркнули теперь по рубке, но с явным разочарованием. Чужой начал отставать от нас и сбавлять темп гонки. Желтая вода, розоватый туман, неуместно яркая голубизна бортов преследовавшего нас судна — все это неожиданно вызвало во мне ассоциацию с картинами французских художников-маринистов, охотно торгующих своими, похожими друг на друга, полотнами в Марселе и даже в более разборчивой Ницце.

Я вышел на левый борт. Щелкнул зажигалкой. Море впереди было совершенно пустынно. Берег угадывался, но не спешил напрашиваться в очевидцы.

Ярко представились голые колени чужой женщины. Все время погони посол ни разу не взглянул на нее, раскачиваясь в углу с закрытыми глазами.

Но какое все это имело значение теперь?

Ветер вырвал из пальцев сигарету и, играя искрами, сам швырнул ее за борт, в живую дымку тумана, туда, у самой воды. Я помедлил секунду и вернулся в рубку...

КУСТУРИЦА

Потрясающее явление — Эмир Кустурица! Совершенно уникальное и, что особенно дорого, — дающее надежду! Сам факт его присутствия в мировом искусстве — чудо! Такое впечатление, что Бог помогает ему. Об этом и его редкая творческая судьба, и твердая последовательность духовного движения (он принимает православие не мальчиком, но опаленным му-

жем, осознающим корни своего сербского рода). Об этом говорят и сами его фильмы. Каждый раз изумляет, насколько гармонизирован в любом кадре созданный им хаос невероятной жизненной энергии! Вот и в новой картине «По млечному пути», где полно всякой живности, кажется, идеально «работают» на идею и собаки, и куры, утки, свиньи, птахи и ослы, словно отлично чувствуют кадр и замысел режиссера! Разве возможно такое без помощи свыше? Конечно, Кустурица — чистый гений в его почти античном, всеохватном воплощении. Ему подвластны слово, но и музыка, режиссура, но и актерство, публицистика и любое искусство. И при том он простодушен, как дитя, искушен, как мудрец, мужествен, как воин, и стоек, как истинно верующий. На мой взгляд, он воплощает в кино сложнейший синтез Феллини и Бергмана, Формана и Скорсезе, сплав импровизации, живой спонтанности с тщательно продуманной, выверенной философией и мировоззрением.

Кустурица — кинематографический антипод Квентина Тарантино. Будто специально возникший из недр славянского мира художник, присягающий свету на глазах у всего мира с детской радостью и облегчением. Ярко оттеняющий болезненность и агрессивность духовного недомогания. Показывающий без всякой полемики, а самым фактом своего существования — можно жить на свету и быть счастливым. Свет не ослепляет, а обозначает тени, придавая миру объем, которого у тьмы нет изначально.

Я покорен его «Млечным путем», обезоружен, потому что его онтологическая, глубинная, «древнегреческая» искренность и прямота влетают не в мозг, а в сердце. И потому герой фильма, трясущийся на библейском осле между миром и войной, вариант современного «человека дождя», человека-дитя, оказавшегося на границе жизни и смерти, — это глобальная метафора нашего земного бытия, которая перехватывает горло прямой сопричастностью и сиюминутностью трагедии, «проговоренной» глазами «юродивого», сербского «князя Мышкина», вечного, как Вечный жид — Идиота, вся сила и надежда которого в Боге. И в родной земле.

Фигура Кустурицы в современном мировом кинематографе выглядит экзотично и загадочно. Как умудрился он сохраниться настолько национальным, особенным и — внутренне свободным?

И при этом снискать известность и славу? Анфан террибль европейской культуры 21 века, любимчик молодых интеллектуалов шести континентов, верный сын своего гордого сердца и народа, баловень, шалун, единственный в мире мужчина, которому удалось сделать невероятное — его, сербского парнишку из Сараево, по балканским холмам отчизны несет на своей прекрасной спине в придуманном им кинематографическом пространстве — сама Моника Беллуччи, красавица всех времен и народов, мечта мужской половины человечества. Это ли не пик мирового признания и торжество субъективного мужества?!

Только Кустурица оказался способным на подобную изысканную «дерзость»! Слава Эмиру, доказавшему, что чудеса возможны и сегодня, в наше больное и опасное время! В эпоху всеобщего оподления верхов и низов. Он, далеко не самый привлекательный из мужчин на свете, показал всему роду людей, что талант, труд, гений — способны посадить тебя на спину лучшей из живущих на планете женщин!

За этот удивительный кинофакт — в моих глазах Эмир Кустурица отныне особенный человек навеки.

Но есть и серьезный символизм в том, что Бог вывел к людям этого гениального, светлого, пылающего любовью и творчеством художника — из Сараево. Здесь возгорелся когда-то бикфордов шнур от всех великих трагедий двадцатого века. И вот пришел теперь Эмир Кустурица, бесподобный вестник милости и мира...

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ

Когда родился брат Миша, я не сразу сообразил, что перестал быть главным.

В день, когда его, еще безымянного, привезли из роддома, положили на диван и все, включая соседей, столпились вокруг, — я, прижавшись к стене, одиноко смотрел на пританцовывающие у дивана ноги и пытался осознать — а кто теперь я?! И ждал, ждал, когда же обернется мама?..

Через три года появился еще один младший брат, Иван. И я вновь стал главным, но как старший. Не как единственный...